

ПОЛЁТ БУМЕРАНГА

Борис Грань



Борис Грань

Полет бумеранга

«Автор»

2026

Грань Б.

Полет бумеранга / Б. Грань — «Автор», 2026

Всё началось с жаркого полдня, когда Алексей почувствовал запах измены раньше, чем увидел экран телефона жены. Двадцать три года брака, трое детей, дом с яблоней под окном — всё это Ирина променяла на правильную квартиру, машину и бизнесмена Виктора, который говорил о женщинах как об инвестициях. Она ушла легко, почти без сомнений, уверенная, что впереди ждёт жизнь достойнее той, что была. Впереди не оказалось ничего. Повесть о цене свободы, которую легко взять и трудно оплатить. О том, что дом — это не стены, а люди, которые ставят чайник с вечера. И о том, что потеряв всё чужое, можно однажды обрести своё.

© Грань Б., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Рубикон (Все смешалось)	6
Глава 1. Жаркий полдень	6
Глава 2. Чужой человек	8
Глава 3. Бассейн	10
Глава 4. Порог	15
Глава 5. Точка невозврата	19
Часть вторая. Золотая клетка (Так чего же тебе еще было нужно?)	25
Глава 6. Инвентаризация жизни	25
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Борис Грань

Полет бумеранга

Полет бумеранга

Часть первая. Рубикон (Все смешалось)

Глава 1. Жаркий полдень

Экран вспыхнул. Вибрация. Ложь.

Алексей не увидел сообщение — он его почувствовал. За секунду до того, как телефон Ирины ожил на тумбочке, воздух в спальне стал другим. Плотнее. Тяжелее. Как перед грозой, когда ещё ничего не случилось, но всё уже решено где-то там, наверху, в небе, которому нет до тебя дела.

Полдень плавился за шторой. Август выдавил из города все соки и бросил его остывать на раскалённом асфальте.

В спальне висел запах — не духов, не пота, не старого белья. Запах был чужой. Тонкий, вездливый — как чужой след, оставленный на дверной ручке. Он въелся в подушку, в изгиб простыни, в самое горло.

Двадцать три года. Двадцать три года он приходил домой и не принимался.

Теперь принимался.

“Этого не может быть”

“Ты чувствуешь это уже третью неделю.”

“Я схожу с ума. Жара. Просто жара”.

“Жара не пахнет чужим мужчиной”.

Телефон снова дрогнул. Экран загорелся — коротко, ярко, ревниво. Отправитель был сохранён под именем, которое ничего не значило: «Сергей. Работа». И именно эта бессмысленность имени кричала громче всего.

Алексей стоял в дверном проёме и не двигался. Свет падал из окна косым столбом, и в этом столбе медленно, торжественно, вечно кружилась пыль. Миллионы крошечных пылинок, каждая в своём бесконечном падении.

В детстве он думал: если долго смотреть на пыль в луче — время остановится. Он смотрел. Время не останавливалось. Оно просто переставало что-либо значить.

Вот оно опять. Замерло. Висит в воздухе, как эти пылинки, и ждёт, когда он сделает шаг.

“Возьми телефон. Проверь. Узнаешь — и всё закончится”.

“Нет. Тогда всё только начнётся”.

“Ты уже знаешь. Ты просто ещё не признался в этом себе”.

“Я не хочу знать”.

“Поздно, Лёша. Нос не обманешь”.

Вибрация. Третье сообщение.

Ирина спала — или делала вид, что спит. Лицо у неё было спокойное, ровное, чужое, как у человека, которому нечего бояться. Дыхание ровное. Слишком ровное. Люди так дышат, когда следят за собственным дыханием.

Он подошёл к тумбочке.

Пыль в луче дрожала. Ждала.

Рука поднялась — и остановилась.

“Если ты возьмёшь его сейчас — ты уже никогда не станешь тем, кем был минуту назад”.

“А если не возьму?”

“Тогда останешься тем, кем был. Идиотом, который принохивается к собственной подушке и делает вид, что это просто август.”

Экран погас сам. Через пятнадцать секунд. Ровно столько, сколько Вселенная давала ему на выбор.

Пятнадцать секунд прошли.

Алексей сделал шаг вперёд.

Глава 2. Чужой человек

Виктор приехал в четверг, в четыре, без звонка.

Так делают только те, кому никогда не отказывают. Или те, кто заранее знает, что дверь откроют.

Алексей слышал его раньше звонка — шаги на лестничной площадке были ровные, широкие, без тени сомнения: шаги человека, который идёт по своему городу и по своей жизни, не спрашивая разрешения ни у кого, и уже поэтому звучали они в подъезде как чужая уверенность, втёртая в чужое пространство. Звонок. Один. Длинный. Без повторов — потому что повторять Виктор считал унижительным и для себя, и для того, кто стоит по ту сторону двери.

Алексей открыл.

— Лёша, — сказал Виктор, и в этом коротком имени было столько снисходительной близости, что Алексей на секунду почувствовал себя младше на двадцать лет. Не помешал? Я мимо ехал. Подумал — загляну. Ты же не против?

Он не спрашивал разрешения. Он давал возможность согласиться.

Пальто — на спинку стула, а не на вешалку, потому что вешалка означала бы, что он собирается задержаться, а Виктор никогда не собирался задерживаться: он просто “был”, и от его присутствия комнаты становились теснее. Часы на руке — спокойные, дорогие, без блеска, из тех, что не кричат, а шепчут о деньгах. Туфли, поставленные слишком ровно, как ставят вещи люди, привыкшие, что за ними уберут.

Алексей стоял у стола и смотрел, как чужой человек обживает его квартиру. Без стеснения. Как хозяин, приехавший проверить, как живут арендаторы.

Тихая злость поднялась откуда-то из-под рёбер — но не нашла выхода и осела обратно, глухо, как вода в песок. Алексей умел молчать так, что молчание это выглядело достоинством. Возможно, когда-то оно и было им. Теперь это была просто привычка человека, который давно перестал доказывать, что заслуживает чего-то.

— Коньяк есть? — спросил Виктор, уже открывая дверцу шкафчика, уже зная, что есть: Ирина говорила, а Ирина говорила ему многое.

— Второй ярус, — сказал Алексей ровно.

— Вижу.

Рюмки. Движения Виктора были отработанные, домашние, чужие. Он налил, не спрашивая. Протянул. Отпил первым.

Двое за столом. Полдень расплылся в сумерки. За окном город дышал пылью и мазутом, а здесь, на кухне, воздух стоял густой, как сироп, и каждое слово опускалось в него ко дну медленно, будто сквозь масло.

— Как дела на заводе? — спросил Виктор, и это был не вопрос, а разбег.

— Работаю.

— Работаете, — повторил он, будто пробуя слово на вкус и находя его пресным; от этой пробы в воздухе повисло что-то, что не называлось обидой, но ощущалось ею. — Знаешь, в чём твоя беда, Лёша? Ты умеешь работать. Ты не умеешь выбирать.

Алексей не ответил. Смотрел в рюмку, на тонкую маслянистую дорожку, сползающую по стеклу, и на этой дорожке пытался удержать равновесие — то самое, которое не давало ему встать и уйти.

— Всё в жизни — инвестиция, продолжил Виктор, откинувшись на стуле ровно настолько, насколько позволяла спинка, и говоря медленно, вязко, с той обстоятельной неторопливостью, с которой говорят люди, чьё время никогда никому не принадлежало, кроме них самих. Завод, дом, человек рядом. Особенно человек рядом. Женщина — это портфель. Держишь одну и думаешь, что это любовь. А это просто актив, который не приносит дивидендов, но требует вложений. Ты вкладываешь, вкладываешь — годы, нервы, зарплату, а доходность нулевая. И ты не продаёшь, потому что жалко того, что вложил. Так устроены все. Так устроен ты.

Слова оседали в тишине и там жили — медленно, как пыль в солнечном луче, никуда не торопясь, зная, что время теперь на их стороне.

— А если дивиденды есть? — спросил Алексей. Голос не дрогнул. Это была его маленькая победа, и он её не отдал.

— Тогда надо вовремя понять, Виктор поднял рюмку, посмотрел сквозь коньяк на свет, как оценивают пробу, кто в этом деле менеджер, а кто вложение. И не путать.

Он допил. Поставил рюмку точно в след от предыдущей влаги. Встал.

— Спасибо за компанию, Лёша. Ирине привет.

Это было самое страшное. Не слова о женщинах, не проценты и не портфели. А то, с какой небрежной, уверенной лёгкостью он произнёс её имя — как произносят имя, которое давно стало своим. Привет от человека, которому уже не нужны предлоги.

Алексей закрыл за ним дверь. В квартиру вернулась тишина, но это была не прежняя тишина, а другая — та, что остаётся после того, как из воды вынули руку и вода ещё долго смыкается там, где ничего не было.

Он подошёл к столу. Вторая рюмка стояла нетронутой — его.

Он так и не выпил.

Глава 3. Бассейн

Вода была слишком синей. Такой синей, что резала глаза, — не вода, а расплавленное стекло, в которое страшно смотреть и невозможно не смотреть. Солнце висело прямо над чашей бассейна, безжалостное, белое, как прожектор в операционной, и от его света плитка на бортике казалась не белой, а выжженной до кости.

Ирина выбрала это место сама. Специально.

Кафе у бассейна, с шатрами, шезлонгами и официантом, который подходил ровно за секунду до того, как ты понимал, что тебе что-то нужно. Дорогое. Правильное. Из тех мест, где люди улыбаются друг другу, не глядя в глаза, а чуть выше — туда, где их уверенность висит, как ценник.

Катя сидела напротив матери и не прикасалась к лимонаду.

Ей было шестнадцать и она всё ещё не умела носить своё тело так, как носила его мать: свободно, уверенно, будто тело — это давно оплаченный актив. У Кати коленки всё время хотелось свести вместе, руки — спрятать под стол, а глаза — опустить. Она ненавидела это в себе. Всю дорогу сюда, в машине, она репетировала, как будет холодна и спокойна. И вот сидела, сжавшись в комок под этим белым солнцем, и чувствовала, что платье жмёт под мышками, что ремешок босоножек натёр за пять минут, что нос блестит, а это заметно.

Катя видела всё. Каждый жест матери, каждое движение её пальцев по бокалу, каждую секунду неловкости, которую та заливала светской болтовнёй. И одновременно — себя: нелепую, неуклюжую, слишком громкую и слишком тихую сразу. Восемнадцать лет — это возраст, когда человек уже понимает, как надо, но ещё не умеет.

— Тебе идёт это платье, сказала Ирина. Я тебе его брала в Милане. Помнишь?

— Помню.

— Ты его ни разу не надела. Я заметила. А я ведь старалась, Катя.

— Оно мне мало, — сказала Катя и тут же покраснела, потому что это была полуправда: оно не было мало, оно было не её, и от этого казалось тесным, как чужая обувь.

— То есть... я его донашиваю, что ты привозишь. По мере сил.

Она улыбнулась — виновато, криво, лишь бы разрядить. У неё всегда получалось так: злиться и тут же извиняться за то, что злится.

Ирина была красива в этом свете. Красива той ухоженной, тщательной красотой, которая не стареет, потому что её поддерживают с той же регулярностью, с какой поливают растения в кадках вдоль бортика. Катя смотрела на мать и в сотый раз за жизнь думала одну и ту же стыдную мысль: *Не хочу быть на неё похожей. И хочу. И не хочу. И хочу.*

— Хочу тебе кое-что предложить, сказала Ирина, и голос её стал мягче, вкрадчивее, отчего предчувствие у Кати сжалось под рёбрами. Ты же неглупая девочка, чтобы прозябать на

этой своей журналистике. Владимир Степанович, помнишь, у которого своя клиника, он может устроить тебя в медицинский. На платное. Я всё оплачу. Отдельную квартиру тебе сниму. Машину. Хочешь — поедem в мае куда-нибудь, ты же мечтала о Праге.

Она отпила из бокала и добавила, будто ставя точку в долгой, обстоятельной инвентаризации:

— Я для тебя стараюсь. Ты же понимаешь.

И вот тут Катя почувствовала, как что-то в груди поднимается, тяжёлое и тёмное. Не обида, нет. Обида была бы человеческая, с ней можно жить, её можно выплакать в подушку ночью и утром умыться холодной водой. Это было хуже. Это было отвращение и страх одновременно: страх от того, как легко её можно купить, и отвращение от того, как сильно, оказывается, хочется согласиться.

Потому что она уже видела эту квартиру. В голове, за секунду, ярче, чем бассейн. Своя комната. Дверь, которую можно закрыть. Никаких «я тебе брала», никакой миланской одежды не по размеру, никакой вечной обязанности улыбаться. Только подпиши. Только промолчи.

Она почти услышала, как произносит «хорошо». Почти.

— Мам, — сказала она, и голос прозвучал тише, чем ей хотелось, зачем ты это делаешь?

— Что я делаю?

— Вот это. Всё это. — Катя обвела рукой бассейн, шатры, солнце, официанта, весь этот сверкающий, слепящий мир. Рука дрогнула, и она поспешно спрятала её под стол. — Ты думаешь, если ты купишь мне всё, я перестану видеть?

Тишина. Даже вода в бассейне будто на секунду остановилась — белая рябь замерла под прожекторным солнцем.

— Ты неблагодарная, — сказала Ирина ровно. Без злости. С той окаменевшей отстранённостью, которая появляется у людей, когда их прижимают слишком близко к правде. Я тебе дала всё. Я тебе дала больше, чем...

Слово ударило раньше, чем Катя успела его осмыслить. В ушах тонко зазвенело — высоко, ровно, как комар над самым виском. Под горлом поднялась тёплая тошнота, такая внезапная, что пришлось сглотнуть, а потом ещё раз, и только тогда она поняла, что всё это время не дышала. Она вдохнула — рвано, будто вынырнула, и мир вернулся: солнце, вода, скатерть, мать напротив. Белое. Слишком белое.

— Ты мне ничего не дала, — перебила Катя, и вот теперь её голос не дрожал, потому что внутри было хуже дрожи — там всё уже сорвалось с крепления. Ты мне всё покупала. Это разные вещи. Ты и сейчас пришла не поговорить. Ты пришла закрыть счёт.

— Ты не имеешь права так говорить со мной. Я всю жизнь...

— Всю жизнь ты делала так, чтобы тебе было удобно. Катя поднялась. Полотенце соскользнуло с шезлонга, упало на раскалённую плитку. Она не подняла его. И сейчас удобно. И с ним удобно. Я знаю, мама. Я давно всё знаю.

Это была ложь. Точнее, не ложь — догадка, обострённая до правды оттого, что очень хотелось наконец понять, почему дом такой холодный. Катя сказала это и в ту же секунду испугалась: а если угадала? Тогда всё, что она сейчас делает, уже не ссора. Тогда это конец.

А может, и нет. Может, она просто сходит с ума, как сходят с ума все дети, которым кажется, что их не любят.

Ирина не изменилась в лице. Ни на миллиметр. Только палец, которым она держала ножку бокала, побелел до костяной белизны.

— Это ты мне говоришь? — тихо сказала она. Ты?

— Я.

Бокал наклонился. Немного. Совсем чуть-чуть, но этого хватило: лимонад выплеснулся на белое полотно скатерти и расползся неровным, тёмным пятном, как всё, что уже не отстирается.

Катя пошла прочь от бассейна — по раскалённой плитке, босиком, оставляя за собой цепочку мокрых следов. Следы сохли мгновенно, за её спиной, один за другим, будто кто-то аккуратно стирал её существование в этом месте.

, сейчас не победила. Я сейчас просто сбежала. И мама права — я неблагодарная. Наверное, права.

Она села на бортик у технической калитки, там, где никто не ходил, и заплакала — быстро, некрасиво, утирая лицо ладонями, которыми только что держалась за раскалённый металл. Никто не видел. Это было единственное утешение, а больше и не требовалось.

А потом достала телефон.

Не подумала — просто достала, потому что так делают все, потому что в такие минуты нужно кому-то позвонить, и Катя набрала подругу — Дашу, первую в списке, ту, с которой всё всегда можно было сказать в лоб.

Один гудок. Второй. Третий.

— Катюх? Ты чего, я на паре, — голос в трубке был живой, тёплый, из другого, нормального мира, где люди просто ходят на пары и не сидят босиком у чужих бассейнов.

Катя открыла рот.

И ничего не сказала.

Горло сжало. Не слёзы даже — они уже были, их не замечаешь, — а что-то другое: как будто все слова разом стали чужими и слишком большими, чтобы их выговорить. Она вдруг

поняла, что не знает, с чего начать. «Мама купила мне Прагу»? «Я ушла из дома, но пока ещё не ушла»? «Я только что так накричала на маму, что не могу дышать»?

— Кать? Алло?

— Да, — сказала она. Голос вышел ровный. Удивительно ровный. — Да. Всё нормально. Перезвоню.

И нажала отбой.

Сидела с телефоном в руке, смотрела на тёмный экран, на своё отражение в нём — расплывчатое, перекошенное, чужое. Оказывается, вот что было самым страшным в этом дне. Не мать. Не бассейн. Не белое солнце. А то, что в мире было полно людей, которым можно позвонить, и ни одного, которому получалось бы сказать.

Она вернулась домой к вечеру. Собралась за двадцать минут — потому что собиралась на самом деле всю жизнь. Рюкзак, ноутбук, пара футболок, зарядка, паспорт, книги; руки не слушались, молния не закрывалась, и Катя злилась на себя за эти глупые слёзы, которые всё шли и шли, ни на минуту не останавливаясь.

Она не взяла ничего из того, что было куплено. Она хотела думать, что это гордость. На самом деле ей было просто невыносимо уносить с собой хоть одну вещь, которая потом будет напоминать этот бассейн, это белое солнце и то, как легко было почти согласиться.

Отец стоял в коридоре. Смотрел на неё и молчал тем своим молчанием, которое Катя всегда принимала за согласие, а сейчас впервые поняла: это не согласие. Это бессилие. Он и сейчас не сказал ни слова — только протянул ей конверт. Она не взяла. Шагнула к нему, уткнулась лицом в его плечо, как в детстве, на две секунды, — и отстранилась, потому что ещё секунда, и она бы осталась. Ушла. Дверь закрылась.

Ничего не объясняя. Ни ему, ни себе до конца.

А Ирина в тот вечер позвонила. Не Кате. Не мужу.

Виктор ответил с третьего гудка — с той спокойной, сытой неторопливостью, с которой поднимают трубку, зная, что на том конце ничего важного.

— Она ушла, сказала Ирина. Совсем. К отцу не вернётся, я знаю. Что мне делать?

И в этой фразе было столько всего — страх, растерянность, надежда, что она сама услышала, как жалко это звучит. Она предлагала ему свою жизнь. Целиком. Как предлагают квартиру в хорошем районе.

Виктор помолчал. Этот молчаливый интервал она потом вспоминала много раз, ночами, с той ясной, беспощадной памятью, которая приходит только в бессонницу.

— Ира, — сказал он наконец, мягко, почти ласково, и от этой ласки у неё похолодели пальцы, ты же понимаешь, чужие дети мне не нужны. У меня свои есть.

И повесил трубку.

Ирина сидела в тёмной кухне, и в окне за её спиной горели окна чужих домов — маленькие, тёплые, ровные, как иллюстрации к жизни, которая происходит у кого-то другого. Она держала в руке телефон с погасшим экраном и слушала, как где-то далеко, в другой комнате, капает вода. Капля за каплей. Ровно, как часы, отсчитывающие вложение, которое так и не окупилось.

Глава 4. Порог

Никто не сказал вслух: «она ушла». Просто к вечеру пятницы в квартире стало на одного человека меньше, и это ощущалось не как утрата, а как выключенный звук.

Ирина ушла в четверг. Собрала два чемодана — не спеша, аккуратно, с той обстоятельностью, с которой пакуют вещи люди, знающие, что их ждут. Ни слёз, ни сцен, ни просьб. В коридоре остался запах её духов — тот же, что и всегда, только теперь он никуда не вёл.

Алексей просидел в спальне всю ночь. Не спал. Смотрел в потолок и слушал, как дом разговаривает сам с собой: гудит холодильник, тикают часы в гостиной, где-то на пятом этаже кто-то долго не может открыть кран. Обычные звуки. Но между ними теперь была пустота, и она усиливала каждый звук.

Утром он вошёл в её комнату.

Шторы были задёрнуты, но свет всё равно лез — снизу, из-под полотна, полосой по паркету. Кровать стояла застеленная. Слишком застеленная — так, как застилают кровати в гостиницах, в которых никто не живёт. Шкаф был открыт. Пустые плечики покачивались от сквозняка, чуть-чуть, будто кто-то невидимый всё ещё перебирал их пальцами.

Он стоял и ждал, что почувствует что-нибудь. Ничего не пришло.

На пороге возникла тень. Матвей.

Пятнадцать лет. Вытянулся за лето, стал длинным и неловким, как все пятнадцатилетние, — руки не туда, ноги не туда, голос ломается на середине фразы. Он не вошёл. Стоял в проёме, держась за косяк, и смотрел на пустые плечики, как смотрят на что-то, что нельзя трогать.

— Пап, — сказал он. И больше ничего.

Алексей обернулся.

— Да?

Матвей молча прошёл в комнату, открыл нижний ящик комода, вытащил оттуда чёрный мусорный пакет, развернул его — деловито, без выражения, будто делал урок на «удовлетворительно». И начал складывать.

Майки. Свитер. Джинсы. Платье, которое она так и не надела — с биркой. Крем, флакон, второй, третий, все эти бесконечные банки и тюбики, что стояли на трюмо ровными рядами, как солдатики. Он сгребал их рукой, без злобы, без жалости, без ритуала, просто перемещал предметы из одной категории в другую. Было — нет.

Алексей смотрел.

— Матвей.

Сын не поднял глаз. Открыл следующую полку.

— Матвей, — повторил Алексей. Ты что делаешь?

— Собираю, — сказал мальчик ровно. — Ты же всё равно не соберёшь.

И в этом коротком «ты же всё равно не соберёшь» было больше правды, чем Алексей был готов принять в семь утра. Он хотел что-то сказать — что мать вернётся, что надо подождать, что так нельзя, — но все фразы, что поднимались в горле, оказывались одинаково ложными. Мальчик был прав. Он бы не собрал. Он бы оставил всё как есть, потому что надеялся, что если ничего не трогать, то и ничего не произошло.

Пакет наполнялся. Плечики оставались.

— Оставь хотя бы фотографии, сказал Алексей тихо.

— Они в шкафу на антресолях. Я не достаю.

— Хорошо.

Больше они не разговаривали. Слышно было, как в соседней комнате сестра Матвея собирает свой рюкзак и как он бормочет под нос что-то, что не разобрать. Обычное утро. Школьное утро. Слишком обычное, чтобы в него поместилась такая вещь, как ушедшая мать. И это было хуже всего: мир не остановился. Он просто слегка сдвинулся в сторону, и надо было идти дальше.

Днём Алексей вынес пакет на площадку. Он был туго набит. Тяжёлый — тяжелее, чем должны быть вещи одного человека.

Он не выбросил его. Поставил у двери и запер квартиру. Через три часа вышел проверить — пакет стоял. Ещё через два — тоже. Он понимал, что делает глупость, и всё равно выглядывал.

Вечером, когда дети легли, он остался на кухне.

Плита. Чашка. Немытая посуда, о которой раньше обязательно сказали бы. Он сел и стал думать — впервые за месяц без спешки, без самообмана, честно.

Нельзя удержать того, кто перестал быть частью тебя. Не «нельзя» в смысле «не получится» — в смысле «не существует способа». Человек уходит не тогда, когда закрывает дверь. Он уходит гораздо раньше: в тот день, когда перестаёт быть в твоей жизни тем, чем был. Ты ещё держишь руку, ещё ждёшь шагов на лестнице, ещё узнаёшь её духи и выпрямляешь спину при звуке ключа, — а её уже нет. Ты обнимаешь пустоту и называешь это браком. Двадцать три года ты охранял дом, которого уже не было, — и охранял добросовестно, каждый день, сам не понимая, что за вычетом людей в доме остались только стены.

Он думал о пакете. О том, как правильно его вынести. О том, что завтра придётся сказать детям что-то настоящее, а он не знал что.

Его взгляд упёрся в чайник.

Он стоял на плите — там, где всегда, — но полный до самого верха. Она ставила его с вечера, каждый вечер, двадцать три года, чтобы утром первым делом включить, пока никто ещё не встал. Потом её не стало в доме двадцать лет назад в том смысле, в котором он только сейчас это понял, а чайник она всё равно продолжала ставить. По привычке. Как заводила будильник на завтра, хотя завтра уже никого не ждало.

Алексей протянул руку, чтобы вылить воду, — и не вылил.

Вода стояла в чайнике вторые сутки, отстоявшаяся, тёплая от комнаты, безвкусная, и никто её не трогал, потому что никто теперь не вставал раньше всех. Он очень хорошо понимал, что вода эта никому не нужна. Просто вылить было равно тому, чтобы признать: утра больше не будет. А к этому он пока не был готов.

Он поставил чайник обратно. Ровно туда, откуда взял.

В прихожей хлопнула входная дверь.

Катя вернулась в час ночи — с рюкзаком, в куртке не по погоде, с распухшим лицом, которое она прятала, опустив голову. Она не сказала «привет». Прошла мимо, села на стул в прихожей, не сняв обуви.

Алексей сел напротив на пуф.

— Я на кухню, — сказала она наконец. Голос был сорванный.

— Пойдём.

Они просидели до четырёх утра и почти ничего не сказали. Так бывает: когда человеку больно, самое важное — не вопросы, а то, что ты сидишь рядом и не уходишь. Катя пила чай, ложка стучала о край чашки, и этот стук был единственным звуком в доме. Алексей налил себе второй стакан воды и так и не выпил.

— Я не знаю, зачем я здесь, — сказала она вдруг, ближе к рассвету. — Я же ушла. Из-за неё. И вернулась к тебе.

— Это не противоречит.

— Правда?

— Ты уходила не от меня.

Катя долго молчала. В окне синело.

— Пап, — сказала она, а ты её всё ещё любишь?

Алексей смотрел на стакан. На тонкую трещину у дна, которую раньше не замечал.

— Я её уже не знаю, — сказал он. Я её знал. Той женщины больше нет.

Он не соврал ни в едином слове, и легче ему не стало.

Катя кивнула и ушла в свою комнату, так и не сняв куртку до конца — просто сбросила её на стул и легла поверх одеяла, лицом к стене.

А в третьем часу ночи из комнаты Матвея вышла тень.

Он не зажёл свет. Прошёл через тёмную прихожую к входной двери, взял с площадки пакет — тот самый, чёрный, туго набитый, уже четырежды проверенный отцом, — и внёс обратно. Тихо, держа за углы, чтобы не шуршало. В ванной, при свете одной слабой лампы, он расправил пакет на полу, достал сверху серый свитер, тот самый, с длинным рукавом и растянутыми локтями, который мать надела два дня назад в последний раз, и осторожно, как что-то хрупкое, повесил его в шкаф. На прежнюю вешалку. Ровно на то место, с которого снял утром.

Остальное оставил. Потом так же тихо вернул пакет на площадку — на то же место у двери, закрыл и ушёл к себе.

Он не сказал об этом отцу. Никогда не скажет. Утром все трое будут здороваться ровно, пить чай, собираться в школу и на работу, и отец не заметит свитер на вешалке, потому что откроет шкаф только через месяц, случайно, и тогда сестра скажет: «а он всё время там висел», — и никто не поймёт, как это возможно; и один человек в этом доме будет знать, почему.

А на пятом этаже, в съёмной однушке с правильным торшером, Ирина сидела на новом диване и смотрела в телефон.

Экран горел, и на нём имя: «Виктор». Одно нажатие. Всего одно, и он ответит с третьего гудка, спокойно и сыто, и скажет что-нибудь тёплое, и на минуту станет легче. Она знала это точно. И именно поэтому не нажимала.

Она положила телефон экраном вниз. Легла. Повернулась к стене.

За стеной у соседей кто-то не спал и ходил — туда-сюда, туда-сюда, ровно, как маятник.

Три комнаты, три человека, одна ночь. И самое громкое, что в них звучало, — не шаги ушедшего, а дыхание тех, кто остался. И вода, стоящая в чайнике, всеми забытая, но ещё никем не вылитая.

Глава 5. Точка невозврата

Такси стояло на светофоре у площади, и Ирина смотрела на счётчик.

Цифры щёлкали ровно, деловито, без всякого сочувствия. Двадцать три рубля, тридцать, сорок. Она ехала в никуда — то есть в квартиру, адрес которой знала наизусть, а ключей от которой у неё не было. Об этом она как-то не подумала. Или подумала и отложила.

Два чемодана лежали рядом на сиденье, туго набитые, тёплые от её рук, и в них было всё, чем она была последние двадцать три года, если упаковать это аккуратно.

Она достала телефон.

Рука не дрожала. Удивительно — не дрожала. Она набрала его сама, первая. За месяц это был первый раз, когда она позвонила первой, и в этом было что-то похожее на прыжок с бортика: ещё секунду назад ты стоял, а теперь уже падаешь, и важно только, успеешь ли почувствовать.

Гудок.

Второй.

Третий.

— Ира, — сказал Виктор. Не «привет». Не «ты где». Просто её имя, ровно, будто он ждал звонка и подготовил фразу заранее.

— Я еду, — сказала она. И сама слышала, как это прозвучало: не как решение, а как просьба. Я всё сделала. Я собрала. Я ушла совсем. Такси сейчас... я буду через сорок минут, я на Мытной.

Пауза. В трубке шумел вентилятор или кондиционер — ровный, длинный, никакой. Ирина вдруг очень ясно представила его кабинет: кожаное кресло, папки, чашка кофе, остывающая у монитора, всё это чужое, взрослое, недоступное, куда её ещё никто не звал.

— Хорошо, — сказал он. Только, Ира, есть один момент.

— Да?

— Если едешь — едем сразу в ЗАГС. Завтра подаём заявление.

У неё пересохло во рту. Она облизнула губы, но это не помогло.

— Завтра?

— Завтра.

Он сказал это спокойно, даже скучно, как говорят о том, что давно решено и обсуждению не подлежит. — Я не буду жить с замужней женщиной. Это не мой формат. И ты меня

пойми правильно: я не мальчик, чтобы прятаться по квартирам. Либо так, либо, Ира, тогда не приезжай вовсе.

Такси проехало под фонарём, и на секунду её лицо в окне вспыхнуло белым и погасло. Ирина не узнала себя в отражении. Оно было мелкое, сжатое, с приоткрытым ртом.

— Ты серьёзно? — хотела сказать она. Или: «а как же я, у меня же дети, мне же надо развестись, у меня же ничего, у меня же два чемодана и всё». Но вслух не вышло ничего. Горло сжало, как в ту ночь, когда она, ещё восемнадцатилетняя, стояла перед Алексеем и тоже не могла сказать то, что нужно было сказать, и согласилась, потому что было страшно остаться одна.

Она узнала этот страх. Он был тот самый. Только тогда ему было двадцать лет, а теперь — сорок шесть, и он ничего не потяжелел, вообще ни на грамм.

— Я понял, ты думаешь, — сказал Виктор в тишину. Голос был ровный, без нажима. В этом и была вся его сила: он не давил. Давить — это для тех, кто сомневается. — Ничего не думай. Просто скажи да или нет. Если нет — так тоже нормально. Просто не приезжай.

— Я приеду, — сказала Ирина.

Слово вышло раньше, чем она успела его додумать. Она услышала его собственными ушами, из своей собственной трубки, своим собственным голосом, и на секунду ей стало холодно в натопленной машине.

— Хорошо, — сказал Виктор. И в его голосе не было ни радости, ни нежности, ничего, что оправдало бы её. Просто «хорошо». Просто галочка. — Диктуй таксисту адрес. Жду.

Отбой.

Ирина держала телефон в руке и смотрела в окно. Город плыл мимо — витрины, фонари, реклама на остановках, тонкая полоса воды на асфальте, всё это чужое, вечернее, равнодушное.

И тогда она, не думая, не решая, набрала другой номер.

Дом.

— Девушка, вам куда? — буркнул таксист, но Ирина уже поднесла трубку к уху. Длинные гудки. Один. Два. Три. Она смотрела на счётчик — тот щёлкал, щёлкал, — и с каждым гудком в ней что-то натягивалось всё туже, как струна, до предела, до звона.

Пятый.

Шестой.

Она уже знала, что никто не возьмёт. Дети спят, Алексею незачем вставать в половине второго ночи ради номера, который он сто раз видел на своём же экране. Но она не сбрасывала. Это было сильнее её — она слушала эти гудки так, как слушают пульс у человека, который

уже не дышит, — всё надеясь, что вот сейчас, вот на этом гудке, что-то произойдёт, что-то перевернётся, и всё окажется неправдой.

Седьмой.

Восьмой.

Матвей взял.

Она поняла это по дыханию. Не по голосу — голоса не было. Просто в трубке стало слышно, как кто-то дышит: коротко, часто, испуганно, как дышат дети, которых разбудили страшным сном и которые ещё не понимают, где они.

— Матвей... — сказала Ирина. И тут же осеклась, потому что не знала, что говорить дальше. Она не готовила эту фразу. Она вообще не собиралась звонить. — Матвей, это я.

Тишина.

— Сынок, я... ты не спишь?

Дыхание на другом конце стало ровнее. Потом ещё ровнее. Потом совсем спокойным — тем спокойным, которое бывает только у человека, который уже всё решил.

— Я не хочу с тобой говорить, — сказал Матвей.

Голос был не злой. Ни капли. Он был ровный, тихий, уже не мальчишеский, уже взрослый, и от этой ровности у Ирины внутри всё оборвалось, потому что она знала этот голос. Она слышала его много раз. Так говорит человек, который перестал ждать.

— Матвей, подожди...

— Мам, — сказал он. И это «мам» ударило её сильнее, чем всё, что было в этот вечер. — Ты ушла. Ушла и ушла. Не надо.

И положил трубку.

Ирина ещё держала телефон у уха, когда в динамике уже не было ничего — только ровное дыхание помех. Она медленно опустила руку. Экран погас сам. Счётчик щёлкнул ещё раз.

Таксист, не отрывая глаз от дороги, спросил ещё раз:

— Девушка, вам куда?

Ирина назвала адрес Виктора. Ровно, разборчиво, с той интонацией, с которой говорят люди, у которых всё решено.

Она вспомнила, что так и не сказала детям ни слова. Ни им, ни Алексею. Просто ушла. И теперь она ехала подписывать заявление, а её пятнадцатилетний сын только что сказал ей «не надо» — и был абсолютно прав.

Какая-то часть её, та, что была живая, ещё тянула руку назад, к этому дому, к этим детям, к чайнику, поставленному с вечера, но рука не дотягивалась. Она видела эту руку со стороны и ничего не могла сделать.

У светофора она опустила глаза на счётчик. Цифра щёлкнула. Ещё одна ночь её жизни начиналась прямо сейчас.

И в этой ночи никого не было, кроме Виктора. Ни одного человека, кто спросил бы: а что ты вообще хочешь, Ира?

Алексей узнал об этом ночью.

Ему никто не звонил. Он просто лежал в пустой спальне, в кровати, которая вдруг стала слишком широкой по обе стороны, и слушал дом. И где-то между третьим и четвёртым часом, глядя в потолок, поймал себя на мысли: её нет. Совсем. Не в квартире — вообще. Навсегда.

Раньше это «навсегда» было словом. Теперь оно стало комнатой. Он вошёл в неё и увидел, что там пусто и что выйти нельзя.

Он перевернулся на бок, уткнулся лицом в подушку.

И заплакал.

Не сразу. Сначала было только давление в груди, как будто что-то большое, тёплое и тяжёлое подступило к горлу и никак не проходило. Потом горло сжало, один раз, сильно, так что он не смог вдохнуть, — и вот тогда из груди вышло что-то похожее на стон: глухое, короткое, придушенное подушкой. А дальше он уже не мог остановиться.

Он плакал так, как плачут мужчины, которые разучились это делать: без слёз, если честно, слёз не было, только ломота в лице, только судорожные вдохи, только плечи, которые прыгали в темноте, которых никто не видел. Он прижимал лицо к подушке так, чтобы ни один звук не вырвался в коридор. Напротив была комната Матвея. Дальше — Костя. Дети спали, а он тут, старый дурак, лежал и хрипел в подушку, как будто его самого только что выпороли.

Он думал: не разбудить. Только не разбудить. Пусть они спят. Пусть у них будет хоть одна нормальная ночь.

И оттого, что он прятал это — прятал от детей, от соседей, от всего дома, — становилось только хуже. Он плакал о том, что его оставили. И одновременно плакал о том, что он теперь не имеет права плакать при своих детях. И это второе было тяжелее первого.

Потом он вспомнил, как днём стоял в её комнате и ждал, что почувствует что-нибудь, — и не почувствовал. И вот теперь оно пришло, всё, что не пришло днём. Пришло через четырнадцать часов, ночью, в подушку.

Так бывает. У горя нет расписания. Оно приходит, когда хочет.

Он лежал, пока в лице не стало сухо и пусто, как в вымытом стакане. Потом сел. Потом вышел на кухню, выпил воды прямо из чайника — того самого, полного, отстоявшегося, — и вода была прохладной и никакой, и он понял, что больше не боится её вылить. Ещё не вылил. Но уже не боится.

В коридоре тихо скрипнула дверь.

Матвей стоял в проёме, в растянутой футболке, сонный, длинный, со спутанными волосами, и смотрел на отца.

Алексей не сразу понял, что с ним что-то не так. Сын стоял слишком прямо. Слишком долго молчал. И глаза у него были не сонные — открытые, сухие, слишком взрослые для этого часа и для этой кухни.

— Ты чего не спишь? — спросил Алексей, и голос сам собой вышел ровный, будто ничего и не было.

Матвей не ответил. Подошёл, взял из отцовских рук чайник, поставил обратно на плиту. Налил себе воды. Сел напротив. И вот тогда, глядя куда-то вбок, в тёмный угол, сказал — тихо, без выражения:

— Она звонила.

Алексей не пошевелился.

— Мать звонила, — повторил мальчик. Только что. Я трубку взял.

Он говорил ровно. Слишком ровно. Так говорят, когда заранее знают, что расплачутся, если хоть чуть-чуть себя отпустят.

— Она что-то сказала? — спросил Алексей. Тоже ровно.

Матвей помолчал. Потом сказал:

— Она сказала: «Сынок, я...» — и всё. — Он сглотнул. — А я сказал: не надо. И сбросил. Я правильно сделал, пап? Правильно?

И вот тут голос у него дрогнул. Один раз. Всего один раз — но этого хватило, чтобы пятнадцатилетний мальчик на секунду стал тем, кем и был: ребёнком, который не спал всю ночь, который взял трубку от чужого имени, который сказал матери самое страшное, что можно сказать, и теперь сидел в темноте и ждал, что взрослый скажет ему, что он не сделал ничего ужасного.

Алексей смотрел на сына и молчал. Может быть, минуту. Может, две.

Потом сказал то единственное, что мог сказать правду:

— Правильно.

Матвей опустил голову. И заплакал — уже по-настоящему, слёз не скрывая, размазывая их по лицу кулаком, как маленький, хотя весь день держался так, что и взрослому не под силу. Алексей встал, подошёл, положил руку ему на голову — тяжело, всей ладонью, как кладут на голову тому, кому уже не помочь словами.

Так они и стояли на кухне — мальчик и отец, — и никто из них не произносил ни слова о том, что было. Может быть, в этом и был весь разговор.

Потом Матвей ушёл к себе. Алексей остался. Плита тихо гудела. За окном светало ровно, серо, буднично — начинался городской день, в котором никому не было дела до того, что в одной квартире ночью умерла жизнь, а в другой — начиналась чужая.

Часы показывали половину шестого.

До пробуждения Кости оставалось полтора часа — достаточно, чтобы успеть стать нормальным отцом.

А чайник всё ещё стоял на плите. Полный. Никем не вылитый.

Часть вторая. Золотая клетка (Так чего же тебе еще было нужно?)

Глава 6. Инвентаризация жизни

Прошёл месяц. Никто не заметил, как именно он прошёл, — просто однажды утром Алексей, стоя у плиты, понял, что больше не вздрагивает, когда в подъезде хлопает дверь.

Он жарил яичницу. Это была третья попытка за неделю, и она шла не лучше двух предыдущих.

Яйцо расплзлось по сковороде неровным жёлтым пятном, белок зашипел, потемнел по краю, и запах горелого масла пополз по кухне раньше, чем Алексей успел сообразить, что огонь слишком большой. Он схватил лопатку, попытался перевернуть — яйцо порвалось, разъехалось, превратилось в бесформенную жареную кашу.

Он выругался.

— Пап, ты чего?

Матвей стоял в проёме, в наушниках на шее, сонный, растрёпанный, и смотрел на сковороду с той смесью сочувствия и веселья, с какой подростки смотрят на попытки взрослых делать то, что взрослые делать не умеют.

— Яичница, — сказал Алексей мрачно.

— Вижу. Это она или что?

— Это она была.

Матвей прыснул.

И вот тут случилось то, чего Алексей больше всего боялся месяц назад. Он засмеялся тоже. Сначала хмыкнул, потом не выдержал, засмеялся в голос, и сын подхватил, и они вдвоём хохотали на кухне над сгоревшей яичницей так, как не хохотали уже давно, может быть, годами. Матвей согнулся пополам, повторяя «это она или что», Алексей махал на него лопаткой, запах горелого наполнял кухню, и это было ужасно смешно — просто потому, что было можно.

Потом они ели её так: подгоревшую, с хлебом, всухомятку, потому что времени варить что-то другое не оставалось.

Костя вышел позже, сел, посмотрел на сковороду, сказал «фу» и налил себе хлопья.

Никто не сказал: «у нас никогда не было сгоревшей яичницы». Никто не сказал: «а мама бы сделала по-другому». Просто Костя налил хлопья, Матвей доел свою порцию, Алексей

налил себе чай из того самого чайника — он всё-таки вылил воду на третий день, налил свежей, и теперь чайник работал как чайник, — и в доме стало тихо.

Не та тишина, которая стояла здесь месяц назад. Тогда это была пустота, в которой было слышно, как у соседей ходит кто-то за стеной. Теперь это была тишина, в которой было спокойно. Как в комнате, где все спят. Как в доме, где всё на своих местах.

Алексей поймал себя на этой мысли и не стал её прогонять. Она была честной. И ещё одна мысль была честной: он не хотел, чтобы было по-старому. Не «переживёт» — не хотел. Это было страшное признание, но за месяц оно успело из гипотезы стать фактом.

Чай был обычный, никакой. Работа ждала. Дети собирались. На кухне пахло горелым маслом и утренним солнцем, и дворник под окнами скрёб асфальт лопатой.

Алексей допил и пошёл ставить чашку в мойку.

Утро стало уютным. Он не заметил, как это произошло.

А Ирина, проснувшись в это же самое время, лежала и смотрела на белый потолок, и в комнате было очень хорошо.

Квартира была правильная. Окна в парк, тёплый торшер, диван из тех, на которые садишься и снимаешь плечи. За окном кормили уток, где-то внизу проехала машина — не раздражённо, как во дворе панельной девятиэтажки, а мягко, по-новому. Она потянулась в постели. Подушка пахла свежим белым. Не чужим — просто белым.

Свобода оказалась именно такой, как она себе представляла. Только тише.

Она встала, надела халат. Новый, шёлковый, серо-перламутровый, из тех, что берёшь «на радость», и пошла на кухню. Виктор уже сидел за столом. В рубашке, без пиджака, с чашкой кофе. Бумаги. Какой-то планшет. Радио на минимальной громкости.

— Доброе утро, — сказала Ирина и потянулась к чайнику.

— Доброе, — сказал он, не поднимая глаз. Позвонил в клинику. Я договорился: тебе нужно пройти осмотр. Просто на всякий случай. Их врач — толковый.

— Хорошо.

Она поставила чайник и полезла в шкаф за чашкой. Она ещё не привыкла к тому, что не знает, где что лежит, и каждое утро открывала не те дверцы. Незначительное, а почему-то раздражало.

— Слушай, — сказал Виктор.

— М?

— Чек.

Ирина обернулась.

Он смотрел не на неё, а в планшет, перекладывая стилус из пальца в палец. На столе лежал маленький клочок розовой бумаги — вчерашний, из супермаркета, который она бросила в прихожей, потому что он торчал из сумки.

— Чек на хлеб, — пояснил Виктор ровно. — И вообще. Ты не убирай их в сумку. Пусть лежат здесь. Всё, что тратишь, складывай в конверт.

Она уставилась на него.

— В конверт?

— В конверт. — Он наконец поднял глаза, спокойные, деловые, без всякой задней мысли. Ира, я тебя не проверяю. Я веду дела. У нас всё должно быть сходимое. Сколько ушло, сколько пришло. Иначе это не жизнь, а проходной двор.

Она смотрела на него и ждала, что сейчас он засмеётся. Или скажет: ну что ты, я шучу. Или: да расслабься, я к тому, что у тебя всё есть, бери что хочешь. Что-нибудь человеческое — хоть одно слово, хоть одна интонация.

Он не смеялся.

— Я за хлеб отдаю своё, — сказала она. Голос вышел тонкий, неприятный ей самой.

— Ты не отдаёшь своё, — поправил Виктор спокойно. Ты отдаёшь моё. Ира, у тебя есть квартира, машина, врач, маникюр, поездки. Это всё стоит денег. Я не жалею — это был мой выбор. Но за такой выбор нужен порядок. Понимаешь? Он чуть улыбнулся, мягко, почти ласково. Иначе я превращусь в того мужа, от которого ты ушла. Ты этого не хочешь, правда?

И вот здесь Ирина поняла, что произошло.

Она стояла босиком на тёплом полу, в этом прекрасном халате, и в голове у неё было ровно одно слово: грассбух. Большая амбарная книга, в которую записывают приход и расход. Хлеб. Маникюр. Пощёчина — в столбик. Объятие — в столбик. Каждая радость имеет цену, и каждую неделю её нужно предъявлять на бумаге.

Свобода была вот здесь, в ладонях. Просто она оказалась не воздухом, а списком.

— Хорошо, — сказала Ирина. Она не узнала свой голос, но это был он.

Она подошла к столу, взяла чек, сложила его аккуратно пополам и положила туда, куда он сказал. Розовая бумажка легла на поверхность матового стола и осталась там — одинокая, неровная, размером с ладонь, первая запись в грассбухе, в котором она с этого утра жила.

Виктор вернулся к планшету. Радио что-то бормотало про пробки.

Ирина отошла к окну, посмотрела в парк. Уток кормили. Светло. Красиво. Всё так, как она представляла.

Она стояла и вдруг очень остро, всем телом, вспомнила чайник на кухне в своей, оставленной квартире. Тот, который она двадцать три года ставила с вечера, чтобы утром первым делом включить. Никто её об этом не просил. Никто не проверял. Просто она и чайник, и утро, и всё.

Здесь чайник был новый, красивый, с электронной кнопкой. Она нажимала кнопку — он грел воду, — и между ними ничего не происходило.

Она налила себе кофе. Села напротив Виктора. Отпила.

Кофе был дорогой. Вкусный.

Она поставила чашку точно в след от предыдущей влаги — на этом столе всё должно было стоять точно, — и стала думать, куда ей девать чек из булочной, который она купит в обед.

Про интимную сторону своей новой жизни Ирина думала редко и никогда вслух.

С Виктором всё было устроено так же, как всё остальное: правильно, дорого, по расписанию. Он был внимателен. Он следил за собой, ходил в бассейн, у него были сухие крепкие руки и привычка придерживать её за локоть, когда она спускалась по лестнице. Он никогда не был груб. Он ничего не требовал прямолинейно. И всё-таки каждый раз это было не близостью, а порядком.

Она замечала это по мелочам, которые стыдно было называть вслух даже мысленно. Он всегда начинал первым, но всегда так, будто уже точно знал, чем это кончится, и это знание делало всё предсказуемым. Он снимал часы и клал их на тумбочку в одно и то же место, циферблатом вверх. Он выключал свет не сразу, а когда считал нужным, и в темноте она слышала только его дыхание. Ровное, контролируемое, как у человека, который делает зарядку. Потом он всегда отворачивался к стене и засыпал быстро, а она лежала и смотрела в потолок.

И вот что оказалось самым невыносимым: в постели не было ни одного слова, которое нельзя было бы предъявить в конверте. Ничего лишнего, ничего неуклюжего, ничего смешного. Ни разу он не спросил шёпотом что-то глупое. Ни разу они не засмеялись в темноте над собой. Не было той неловкости от счастья, когда двое людей разом теряют достоинство и это никого не унижает. Он был хорош и она не могла сказать ему ничего плохого. Он просто занимался этим так же, как занимался делами: аккуратно, с чувством ответственности, до результата.

Однажды ночью, когда он уже спал, Ирина лежала и вспомнила — не захотела, а именно вспомнила, против воли, как в старой жизни было. Как Алексей однажды зимой пришёл с работы и, не сняв куртку, притянул её к себе в прихожей, и они двое чуть не перевернули вешалку, и она хохотала в его плечо, и он хохотал, и потом им было стыдно перед детьми, и они не смотрели друг на друга за ужином. Тогда она считала это беспорядком. Теперь поняла: это была жизнь.

Она лежала в темноте чужой спальни и не плакала. Плакать было нельзя — Виктор мог проснуться, а если бы проснулся, объяснять было бы нечего: всё ведь так хорошо. Она просто повернулась на другой бок и стала считать до ста, как в детстве, когда не могла заснуть. Потом ещё раз до ста. И к утру заснула.

Измены не было. Надругательства тоже — не было ни грубости, ни принуждения, ни одного раза, после которого надо идти в полицию. Было хуже, чем всё это вместе: близость по договору. Тёплое, чистое, дорогое — и точно такое же безучастное, как конверт на столе. Она получала всё, что хотела, — квартиру, машину, врача, — и в этом «всё» не было одного маленького пункта, который невозможно вписать в список. Потому что в списке не бывает строки «чтобы было взаимно». Такой строки в гроссбухе не предусмотрено.

В обед она не купила хлеб.

Она вышла из дома, не сказав никому, куда идёт. Просто надела пальто и вышла, и это само по себе было так непривычно, что она шла медленно, как ходят люди по незнакомому городу, хотя район был тот же, что и всегда.

Ей нужно было в булочную. Она даже знала какую — на углу, за парком, маленькую, с деревянной вывеской и запахом, который чувствуешь за двадцать метров. Раньше, когда она жила в другом месте, она бы не заметила этой булочной вообще. Теперь она её заметила.

Она купила хлеб. Чёрный, кирпичиком, ещё тёплый. Взяла чек — маленький, длинный, кассовый, — аккуратно сложила и положила в карман пальто.

А потом, пройдя на обратном пути мимо ларька у парка, она остановилась.

Там продавали мороженое. Старое, из детства: вафельный рожок, шарик, второй шарик, третий — и всё это в стеклянной витрине, под простым белым светом. Ирина стояла и смотрела на это мороженое долго, гораздо дольше, чем следовало смотреть на мороженое в три часа дня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.